

Ольга ШИЛЕНКО
ЧТО ПРИСНИЛОСЬ
ИССЫК-КУЛЮ

Роман в рассказах

Продолжение. Начало № 1–2, 2025.

* * *

Холодает. Конец октября. Снова палим костры. На огонёк приходят соседи, подсаживаются. Не все страшилки рассказаны. Дочка Рахимберды Умка ждёт продолжения, курит, загадочно молчит.

Подросткие котята полукругом усаживаются подле костра. Греются. Заворожённо смотрят в огонь. Слушают. Их четверо, и они будто понимают рассказчика. Жмутся ближе к ногам. Моя очередь.



ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ИВАНА КРЮКОВА

Свидетель

Случится это в среду, на Троицу, ласковым соловьиным днём с переменной облачностью. Трое человекоподобных мужиков, словно сошедших с картины Босха «Несение креста», будут долго ставить невзрачно-миловидную Ванькину мать на кон, по очереди выигрывая тихую, забитую женщину друг у друга, глумясь и заставляя её прислуживать, ублажать и угождать каждому на свой манер, до тех пор, пока самый главный, полоротый, гугнявый гость не предложит сыграть сначала на «пельмень», а потом на «мокрую».

Пьяный в дрободан отчим, плохо соображая, набычился, мелко заморгал:
 – На «пельмень» не буду. Не-е...

– Вот ты дрефло, Федя, не парься! – весело стукнул его по плечу гугнявый. – На кону курва твоя. Неужто жалко курву, а? Да по ней пол-Григорьевки прокатилось!

Полоротый ослабил, склонил голову набок, приставил руку к уху.

– Не слышу?! Не хочешь на неё, с-сэка, давай на тебя поставим. Кому пушку загнал? Или забыл долги свои, гмыза! – он подступил к отчиму с финкой, сунул ему кулаком в солнечное сплетение. – А?! Куда деньги дел, падла? Не ждал меня с зоны живого, а я вот он – красивый! – Зэк спел «яблочко», рванул на себе рубаху. – Гони бабло или соглашайся, сучонок, может, выиграешь! – заорал он. – Всё по чесноку будет – у картишек нет братишек, мамой клянусь!.. А то!.. – гугнявый приставил финку к горлу отчима.

Отчим захрипел, вывернулся, тупо уставившись на гугнявого, хлопбыстнул стакан водки, подёргал губами:

– На «пельмень»?..

– На «пельмень»! – тоненько подъялдыкнул поделльник гугнявого Дима Шнур.

– «На пельмень», и баста! На мокрую не-е... – сказал отчим, еле соображая, что говорит.

– Если выиграешь... – вкрадчиво прогундел полоротый. – Да шутю я... шутю, Рябуха! Вот ты, Рябуха, даешь...

– Вы-и-гграю, – злобно, в пьяном полубомороке, скрипя зубами, упёрся отчим и начал раздавать карты.

* * *

Ванька выскочит на улицу и, слушая, как бьётся раненой птицей сердце, метнётся к дому напротив. Перемахнёт через забор, до крови содрав локоть.

– Что такое – сыграть на «пельмень»? – задыхаясь, крикнет он, завидев во дворе бывшего ээка и нашакура Валерку Чмыря. Тот тугодумно и удивлённо застынет на месте.

– На ухо, ёк пузырьрёк, а ты чё думал?

– Да так, в книжке прочёл, – леденя всем телом, промямлит Ванька, – а на «мокрую»?

– На жись, значит! – сплюнет себе спокойно под ноги Валерка. – А чё за книжка-то?

– «Упыри», – ответит Ванька и снова перемахнёт через забор.

Он помчится домой, в сарай, плача от ужаса и унижения за мать, достанет запрятанный глубоко в ящике с хурдой-мурдой пистолет с глушителем. Он давно понял, про какую пушку толковал гугнявый. Три года назад, уходя от погони, затравленным зверем гугнявый забежал к ним домой, чтобы оставить у отчима свои бандитские трофеи.

– Спрячь или выкинь в печку! Мокруха на пушке... Бабло возьми себе, половину сохрани. Приду! – скажет гугнявый отчиму и канет как в воду.

И вот он пришёл...

Ванька снимет предохранитель и тихо подойдёт к окну родной хаты. Человекоподобные, гогоча, продолжали игру.

– Мать моя в лапте! Ни хрена! Интересно – когда в бане тесно! – громко частил Дима Шнур, мусоля карты.

– Молчи, бухло, мой ход! – стукнул кулаком об стол гугнявый. Он вдруг увидел Ваньку в окне. – Ты чё там торчишь, как в жопе зуб?! А ну поди сюда! – хрюкнул он и вдруг, словно подавившись, развернулся на сто градусов, запрокинул голову и рухнул.

Во лбу у него зияла страшная дырка. Сдавленный крик матери пронзил избу.

Она бросилась к окну, загораживая ненавистные пьяные рыла в табачном дыму. Шнур скользким угрем исчез с глаз и появился снова. Ванька нажал курок. Шнур, успевший метнуть нож в Ваньку, откинулся, захрипел.

Нож просвистел мимо виска матери, вонзился в оконный косяк и теперь дребезжал и пел на ветру.

Ванька забежал в переднюю, тупо глянул на Шнура. Фраерок лежал, разметава свои белокурые, длинные, как у девки, космы, в белой рубахе, золотой цепочке на шее, на которой ещё пять минут назад болтался золотой крест. Креста на нём не было. Горло было прострелено насквозь.

Причитания и крик матери показались неуместными. Она выла как раненая волчица.

«Собаке – собачья смерть», – хотел сказать Ванька и не смог, он понял, что мычит нечленораздельные звуки, что лицо его, наверное, перекошено от страха, и мать, бледнея, с ужасом и недоумением смотрит на него, сама теряя дар речи.

Станет тихо-тихо.

Где-то далеко и трудолюбиво, как шмель, гудел грузовик, в гулком лесу, где уже расцвели ландыши, куковала кукушка, а во дворе занудливо брехали собаки.

Протрезвевший враз отчим, озираясь и слегка пошатываясь, выйдет во двор. В калитке маячит Валерка Чмырь.

– В натуре, кто кричал?! Рябуха, у ты спички есть? Я зайду?

– На! – грубо кинув коробок, скажет отчим и закроет у него перед носом калитку на запор.

Силы оставят Ваньку, он уйдёт в нервный шок, оцепенеет. Потом, старательно обходя убитых, подойдёт к столу с ещё дымящейся, политой маслом картошкой. И выпьет полбутылки водки, как мужик, не закусывая, беззвучно плача и больно сипя горлом. Станет ещё тише.

Ласковый день проглянет ярким солнцем из облаков, ляжет уютными спокойными пятнами на стенах, на старых портретах покойных бабушки Агафьи и деда Кузьмича. И Ваньке тоже захочется умереть от ужаса и одиночества.

* * *

Он придёт в себя на второй день, в одиннадцать дня, в сыром углу на полу в передней, и первое, что увидит – это ПЛЕСЕНЬ. Пушистые джунгли, поднявшись шапками, островами и причудливыми эллипсами, нежно клубились по стенам. Серо-голубые дымчатые дебри звали и манили в странствие по микрокосму.

За стенкой в сарае было слышно, как мать и отчим, работая заступами, переговаривались, прятали свои «скелеты в шкафах», мороковали и так и эдак, заматали следы.

– Хорошо, что волыну я тогда не бросил в речку, иначе кердык бы нам, – глухо сказал отчим. – Пацана токо жалко, речь потерял от страха. Натерпелся. Может, обойдётся?..

В доме, если не считать плесени, завоёвывающей углы, было уже чисто и вымыто.

– Закапывай её тож, игрушку-то! – громко ответила мать. – Калекой мне пацана сделал, ирод, перекосило ребёнка, мычит, ничего не поймёшь... Гос-с-поди-и, за што?!

Ванька перевернулся на бок, чтобы не слышать голосов. Из открытого окна дуло. Плесень под подоконником была особенно мохнатой и голубой. Ванька увидел в ней свой нищий посёлок – юдоль пьяниц, нищеты и воров, дикие рощи, пустыри и помойки, дымы, пыль и грязь. Дебри плесени звали на пепелище детства и воспоминаний...

* * *

«А ведь это – опухоль, – подумает Ванька, рассматривая субстанцию неразгаданной жизни. – Да – опухоль, гигантский гриб – захватчик, незванный свидетель, чувствующий холод, мрак, сырость, безнадёгу. Он приходит туда, где нужен Хозяин, и завоёвывает свои пространства. Такие гигантские пушистые грибы породили когда-то девонскую эру, а она породила, в свою очередь, хвощи и папоротники».

Ванька вспомнит позавчерашнее. Дебри реальной жизни покажутся ему безнадёжнее, чем эта плесень. И лишь один-единственный день, когда Ксения Андреевна поставила ему первую пятёрку, останется в его памяти навсегда самым счастливым днём в жизни.

Он вырастет, станет художником редкого дарования. Но душевная травма сыграет с ним злую шутку. Станет великий художник Иван Крюков подзаборным богом алкашей и нищих калек, известным под именем Ивана Шани. Это особая история.

История Ивана Шани

Чёрный ворон гаркнул на суку, заскрипел и вдруг заговорил человеческим голосом: «Тогда я был ещё дурр-рак, носил вор-орованный пиджак-к...»

Арсений Печура, черномазый, со следами бывшего благородства мужик, протёр глаза и окончательно проснулся:

– Што-штооо?

– Да так, ничего, пою, – икнув, ответил бомж Иван Шаня.

В его необъятном брюхе что-то булькало и урчало, неопрятные волосы закрывали глаза.

– И в этом самом... пиджаке... меня накрыли в кабаке... два Джона, два Джона, брат, два Джона... – в тон ему подпел, усмехаясь, Печура.

– Вот именно, – поднял палец Шаня. – А не послать ли нам гонца?.. – мотнул он сивым чубом и жестом иллюзиониста всучил Арсению купюру. – Гы-гы, сгоняй, Сеня, купи пару пузырей, – он снова икнул и осовело и недобро уставился на кореша, который явно собрался покочевряться.

– Слушай, Шаня, денег у тебя немерено, а ходишь в бомжах, – глядя на купюру, процедил Печура.

– Ага, ношу ношеное, целую брошенное, – зло согласился Иван Шаня. – А ты чё, блин, хочешь на хрен сесть и рыбку съесть? Не хватит у нас бабла на жумагарь, Сеня, ежели я пижонить начну.

Он истерично хохотнул, неизвестно откуда взявшаяся финка по рукоятку ушла в дерево, аккуратно на волосок от головы Печуры.

– Канай, я сказ-зал, хвостопад задармашный, одна нога там, другая здесь! – с этими словами Шаня больно саданул Печуру пинком в самый копчик.

– Ты чё-о, сучье гузно, мыла наелся? Убью-ю! – выкатил шары Печура, но, завидя звериный оскал собутыльника, осёкся и на полусогнутых, задом, задом отчалил по направлению к магазину. В тот миг он проклял Шаню. Затмение нашло такое, что не помнил, как дошёл до магазина, потом забрёл на базар, купил водку и закусь.

Злость утихла. Есть не хотелось.

Жадный до кайфа организм, алкая, знал – водка без еды забористей. А кильку пусть хаваает Иван Шаня, заждался небось.

– Килька в томате, хрен при хате, – повеселел Печура, завидев хазу, вернее, три сосны, застывшие у входа в чистилище возле вожделенного рая алкашей.

Шалаш Ивана Шани стоял на обрыве в куширях в самом сердце дикого тернового подростка. Хотя шалаш – не то слово. Это было подобие комнаты, сбитое из фанеры и обставленное мебелью со свалки. Короче, бомжатник. И стол, и шкаф, и диван, и даже плитка с краденным электричеством, на которой Иван Шаня, кашляя, жарил утрами голубей.

Однако на этот раз жарёшкой не пахло. Было как-то странно тихо. Ни шороха, ни кашля. Только ворон с надрывом гаркал на суку, да зловеще скрипел ствол старого явора.

С тяжёлым чувством тревоги Печура зашёл в нору разврата и застыл на месте. Такого жуткого зрелища он не видел даже на войне в Афгане... Иван Шаня сидел голый, пригвождённый ржавой пикой к дивану. Во рту у него торчал кляп из чёрных женских колготок, шея была перехвачена удавкой.

Заикаясь от ужаса, Печура понёсся со своим мутным пойлом и килькой в посёлок.

– З-за што-о, з-за штоо?! – повторяя, как сумасшедший, кричал он. Силы оставили его. Еле докондыляв домой, Печура прохрипел всего два слова: «Убили Шаню!» – и рухнул.

* * *

Очнулся он через три дня мокрый от пота, задыхаясь от жары под тремя тулупами. Чем болел, так никто и не понял. Определили – лихорадка. И потом ещё долго болел... страдалец. «Может, это я Шаню... тово...» – мучился, гнал свои страшные мысли Печура. С головой у него было плохо давно. Отравленный газами в Афгане, Печура страдал провалами в памяти, особенно когда входил в гнев от болевого шока, – шутка ли – десять ранений, плюс травма головы, когда он упал там, в пещере, куда его отряд загнали душманы в восемьдесят первом... «Не мог я его, сволочь, так изуверски. За что-о, за пинок в зад?» – спорил сам с собой Печура и понимал – не мог. Но болел долго, собирал себя по частям, даже психотерапевта посетил, пока не утвердился в мысли – не мог он убить Шаню, не такой он зверь и пропойца, чтобы не помнить, что с ним делается в минуты затмения. Одно тревожило: уж больно долго ходил он тогда за пойлом. Ушёл в полдень, вернулся к вечеру, когда уже солнце закатывалось.

«Нет, слово офицера – не мог, – убедил себя Печура. – А пропал три часа, видать, назло обидчику».

* * *

Пришёл Печура помянуть покойного Ивана Шаню в его хаверу уже осенью, застал разорённое гнездо, даже стакана не нашёл. Фанеру, стол и шкаф разобрали на дрова, посуду прибрали к рукам. Стоял только диван, всё ещё пахнувший уриной и кислым духом невымытого старого тела.

Каркас у дивана крепкий, из чистого дерева. Можно и на дрова, а можно и в дело пустить. Печура помянул Ивана Шаню из горла. Брезгливо посидел на диване, рассматривая следы шабаша, мучительно вспоминая... а вечером привёз диван к себе в сарай.

От дивана шло нестерпимое амбре и смутное, inferнальное воспомина-ние ярости...

– А-а, я-ядрён патрон, – обозлился Печура, схватил топор, грубо сорвал обивку и увидел блеснувший вузовский значок учителя. Печура подержал сине-белый ромбик на ладони. Точно такой имелся и у него. Он лежал в комодке никому не нужный.

Печура давно пропил честь учителя, остались только одни светлые воспоминания, от которых хотелось плакать.

А это что? У него ёкнуло сердце. Он увидел на дне внутренностей дивана тайник... Жестяная синяя коробка была тщательно замаскирована в тряпье.

– Ядрён патрон! – Печура вывалил содержимое, ахнул. Перед ним лежали пачки зелёной капусты, именуемой баксами. Много. Попробовал считать. Но их было так много, что он решил позвать жену Лиду. Считали долго. Короче, насчитали пол-лимона.

Чтобы снять стресс, для начала сгоняли за коньяком, купили красной икры и всего того, что отродясь не ели. Пили, не в силах унять дрожь возбуждения и истерического полуйспуга-полуторжества добычей.

На следующий день купили хороший телевизор, ящик коньяка и батарею пива. Гуляли три месяца. Строили в пьяном угаре планы.

– Короче, так... В каждой избушке свои побрякушки, Лидуся. А у нас... будет мраморный бассейн с подсветкой, с прибабасами, прикинь, будто солнечные блики играют в морской воде и слюда на дне посверкивает, камушки-гальки пятнистые, как форели. И цветы, папоротники, хвощи, пальмы, а, ядрён патрон?!

– Всегда-то ты, любимый, с особенкой, с хитринкой, с чертовщинкой... А я вот машину хочу, джирик, чёрненький с навигатором, чтобы ехать аж до Сахалина и в ус не дуть. Идёт?

Печура молчал. Лидуся нахмурилась:

– Идёт, спрашиваю?

– Идёт... по крыше воробей, несёт развесистых соплей, – в дремучем хмелю забвения, почему-то злясь, пробормотал Печура. – Сама ты... блин, с загогулиной, с дурнинкой, по Фомке шапка, по Ядрёне матери колпак! Нет бы о вечном подумать, о чём-нибудь этаким... Эххх!

Печура пил, злился на себя, тосковал и мечтал всё пламенней, и любил свои мечты о путешествии к развалинам Мохенджодаро, в Непал, в Марокко. Ему хотелось сотворить висячие сады Семирамиды, построить самый высокий маяк на свете, открыть дом для престарелых. В такие минуты Арсений Печура был велик. Кого только не одарил он. И теще дал, и шурину, и брату. Сколько и кому занял, не помнил.

А когда они с Лидусей вышли из запоя, то оказалось, что нету у них денег... даже на похмелку. Куда деньги делись, один чёрт знает. Куда засунули пресловутые расписки – тоже загадка.

* * *

Улетела птица счастья, прошуршала магическими своими зелёными перьями. И снова заболел Арсений Печура... теперь уже от разочарования. Слёг. Лежал ничком, и страшное лицо Ивана Шани мерещилось ему в сумраке сознания.

Депрессия и мучения его прошли к весне.

Только стал с тех пор Печура другим... угрюмый, неласковый, бирюк и бирюк. Пить бросил, завязал подчистую. Устроился работать на лесопилку и через три года построил себе дом на честно заработанные деньги. Руки у Печуры золотые.

Вырос его дом на пригорке в узорочье, птицами райскими украшенный. Не дом – терем сказочный. А в том тереме Лидуся, слегка пьяненькая, пироги печёт. Никто не замечает, что навеселе баба, кажется всем – от счастья весёлая Лидуся. И выходит, что лучше этого дома в посёлке нет. Улетело бы счастье, да несчастье помогло.

А там и долги возвращать стали. Брат вернул всё честно до копейки, и шурин половину суммы отдал, вторую – через месяц пообещал. Но это так – мелочь. Самое главное – местный предприниматель Сапрыкин наконец-то раскрутился, вернул с процентами триста тысяч долга, про который Арсений не думал, не вспоминал и расписок не имел, так и не нашёл, дурья голова, да у него их никто и не спрашивал. Отдали долги ему.

* * *

И снова будто затмение нашло на Арсения Печуру. Купил Арсений на возвращённые деньги гектара два земли, разбил для родного посёлка парк, выкопал пруд, пустил по воде чёрных лебедей – радуйся, народ, любуйся! Может, и дурак ты, Арсений, стоеросовый, да только денежки-то тёмные, может, проклятые, хорошо, что всё так получилось, а не иначе. Чужого Арсению не надо, а парк общественный рядом – там себя Арсений хозяином чувствует, за молодой порослью следит. Радуйся, Лидуся, хочешь – на качелях качайся, хочешь – в теннис на лужайке с детьми играй.

Не радуется Лидуся. Делает вид, что весёлая, попивает себе тихонечко. Шумят берёзки несмышлёные, цветут на клумбах жасмины, и вряд ли уже кто спрашивает, почему парк Арсеньевским называют...

...А я вот, любопытная Варвара, спрошу. Подойду к мужику с буйными смоль-кудрями, сидящему с внуком на скамейке.

– Интересно, почему парк Арсеньевским называют? Красивый парк. Особенный.

Мужичок запыхтит сигаркой, хитро усмехнётся.

– Кто ж его знает, ядрён патрон!

– А потому как он его и посадил, – вклинилась в разговор сидевшая неподалёку сердитого вида старушка. – Арсений, што скромничаешь, дай тебе Бог здоровья. Хороший ты мужик, Арсений, токо странный.

Мужичок усмехнётся ещё хитрей и затаенется дымом ещё глубже.

– Может, Арсенеvский парк, а может, кого другого... Жил на этом месте человек. Горько жил, горько помер, – скажет Печура, – может, в память о его смерти парк поставлен. Может, слышит его душа меня, прощает, ежели я виноват перед ним, горемычным. А душа што? Она греха уже не знает. Может, она и есть птица счастья. Живёт себе, с берёзки на берёзку перепархивает. То стерхом золотым привидится, то кукушкой прокукует, то грустным лебедем в пруд засмотрится. Много ли ей надо – душе человеческой?

Арсений Печура взглянул на меня голубыми глазами поэта и поведал историю кончины знаменитого Ивана Шани, которую вы только что слышали.

– За что же убили Шаню? – помолчав, спрошу я. – Деньги искали? Он кто был, урка, катала, шулер? Поди, обшак присвоил или обул кого в лапти?..

– Кто его знает, – закуриv снова, протянул Печура. – Видите ли, он был очень скрытен и непредсказуем. То добр, то злобен. То лжив, то искренен. То отвратен, то мил. Мог люто обидеть ни за что и тут же одарить милостью. Шалав не жаловал, а замужним и брошенкам щедро платил за любовь. Ещё была у него такая неистребимая потребность – жить на природе. С птицами разговаривал, с мышами, с белками. Интересный... К нему бабёнки в гнездо сами залетали. Видать, кто-то ревнивый и пригвоздил на месте. Так я думаю... Вон, видите ту ротонду на обрыве? – кивнул Печура в сторону реки Весёлки. – Там стояла его хаза. Теперь влюблённые свидания назначают.

Я взгляну на голубой купол ротонды и увижу на нём гордо восседающую птицу. Может быть, это был тот самый чёрный ворон. Они же по триста лет живут. Сидел, вспоминал Ивана Шаню, у которого ел с руки и, наверное, был один свидетелем тайны его гибели.

...Ходила в народе и ещё одна версия, будто Иван Шаня – это и был тот самый исчезнувший когда-то без вести гениальный художник Васильев, утративший свой талант после нервного срыва и ушедший бомжевать под чужим именем.

Мне даже показывали репродукции его картин, вывезенных за границу. Безымянный гений получил за свои картины целое состояние, которое предпочёл пропить и раздать бедным людям. Особенно повезло одной горемычной брошенке по имени Нюрочка Арипринцева, которая прижила от Шани ребёночка. Художник отвалил Нюрочке полмиллиона на крепкий особняк под Москвой и просил выполнить только одну-единственную просьбу – назвать сына Иваном. И если обнаружится у ребёнка любовь к живописи, то отправить мальчика по такому-то адресу к его лучшему другу Илье Глазунову с сопроводительным письмом, которое распахнёт одарённому отроку не одну волшебную дверь в большое искусство.

ЗАВОРОЖЕННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ

Вещие сны

Умка спрашивает, ложилась ли я когда-нибудь ещё раз в «ведьмин круг», чтобы увидеть вещий сон. Ложилась.

Первый раз случилось это в 1983 году. Здесь, в окрестностях на Каменском плато, траурицы чёрные всё больше встречаются. Что, если приснится чего похуже? – подумалось почему-то...

Но так нам тогда несладко жилось с мужем, что казалось – хуже уже не будет. Жили мы в Каргалинке у гор, тоже возле колхозных садов. В мазанке, без печки. Зимой «козлом» обогревались, летом не знали куда от жары деваться, стены тонкие, шлакоблочные, в один кирпич. И двое маленьких детей на шее.

Одна радость была за грибами в сады ходить. Полно там было всяких, особенно опят. Под карагачами даже ивовый плотей рос.

Иду, бывало, с мешочком запотевшим, и не видно сквозь полиэтилен, какое золото там лежит. Радуюсь. А как вспомню про мазанку, так и возропщу прямо в небо.

– Господи! И когда же мои мучения кончатся, когда дом у меня свой будет, в хорошем месте, в городе, не на выселках, с газом, паркетом, люстрами?!

Помню, ребёнок мой четырёхлетний тогда руку сломал. Как же я намучилась возить его из Каргалинки в Каменку, в больницу! Бывало, и пешком с утра пораньше ходили. Вроде недалёко было, а ходишь, ходишь, так весь день и уйдёт, только к ночи вернёмся домой.

Как-то раз забрели мы после больницы с Олежкой в сады. У него рука в гипсе, на верёвочке к шейке подвязана. Сам черноглазый, с золотыми пухкудряшками, а лицо белое как обрат, прозрачное. Туберкулёзную палочку в крови обнаружили у него. Подозрение на туберкулёз. Плохо питаемся.

Но он хорошо, споро идёт. Накануне дождичек был грибной. Вот и забрели далеко в предгорье по грибы. На горах ещё снег, а в садах одуванчики облетают, донник цветёт, сиреневая хохлатка то там, то тут. Глядь, а на полянке светлой, залитой закатным солнцем, «ведьмин круг» из опят.

«Не спи на закате, не спи на закате...» – вспомнится вдруг из детства. И так потянет снова вздремнуть в «ведьмином круге», судьбу свою увидеть, всё равно терять нечего, хуже не будет.

Двадцать семь лет мне было тогда. Ум странно устроен. Возроптала в небо, а потом и загадываю-прошу: «Не оставь меня, Господи, помилуй, дай жильё, достойное меня и моих детей, помоги больному ребёнку».

Легла в «ведьмин круг». Свернулась калачиком. Кофтой, изнанкой вверх укрыла голову, чтобы память не заспать. Наказала ребёнку стеречь меня. «Смотри, чтобы змея мне в рот не заползла... А то заползёт и будет во мне жить. Глаз с меня не спускай». И тут же уснула крепким мимолётным сном. Намаюсь с парнишкой. Столько пешком прошли. Было, и на руках его несла через речку и колдобины. А худая! В чём только душа держится. Одни глаза да ключицы. Уцепился Олежка за мою ключицу, как за поручень, тихо сидит.

Если б я знала тогда, что усну бездомной нищенкой, а проснусь титульной леди, я бы ни за что не поверила. Туфли у меня дешёвые, вельветовые, ноги в кровь сбиты грубыми ремешками. Худая да страшная.

* * *

И снится мне гора Коктюбе. Будто стою я с мужем на самой верхушке горы, смотрю в город локально, как в луцу, и ясно вижу элитную улицу Тулебаева, два или три столетних серебристых тополя и два деревянных двухэтажных дома. Гляжу и говорю: «Смотри, как хорошо отсюда наш дом виден». А сама не вижу его. Знаю, что он с деревянными где-то совсем рядом, но не вижу его, а тополя будто – точно мои, родные, словно всю жизнь у окон моих росли.

Проснусь я и сон свой на миг забуду, потому как увижу прямо перед собой на ветке заилийскую синюю птицу, то бишь лилового дрозда. «Жить-жить-жить!» – радостно поёт этот сине-лиловый дрозд, то лиловым, то синим переливается на солнце. Говорят, увидеть синюю птицу – к счастью. Надо только желание загадать.

Страстно пожелаю я квартиру в центре города... А в подсознании снова те столетние тополя с Тулебаева всплыли. Одно только не понравится мне, что синяя птица покружит над садом и сядет вдруг на мазар, прямо на макушечку голубого купола.

– Плохая примета, – скажу я потом мужу, с отрадой слушая его возражения.

– Это у русских всё, что связано с могилой и кладбищем, считается страшным знаменем, а у мусульман мазар – это священное место, обитель аруахов, светлых сил и духов, которые защищают и покровительствуют. Думаю, это очень хороший сон, и примета хорошая.

Про ведьмин круг я ему не рассказала, чтобы не насмеялся, коммунист всё-таки, почти атеист, спортсмен...

Не прошло и недели, как вещий сон сбывся, забрали его работать в «Белый дом», инструктором печати. А ещё через неделю – невероятно, но факт – дали нам большую квартиру в элитном доме, в центре на улице Тулебаева прямо напротив тех трёх серебристых тополей, которые я во сне видела.

Я даже разочаровалась немного. Что? Так быстро?! Только-только лето красное наступило, грибы, ягоды пошли, соловьи запели. Неохота в город. Давай осенью поедем. Подождёт квартира, говорю.

– Ты не рада?

– Да как же не рада?! Рада.

А сама ещё не знаю, что дом мой новый на Тулебаева возле столетних тополей стоит, которые во сне видела. А дома деревянные снесли год назад, на том месте скверик разбили, только старый куст сирени оставили, и смотрит этот куст прямо в окно моей будущей спальни. Выходит, есть бог на свете. Бог, провидение или ещё какой-то сверхразум? Наверное, есть.

Но я тогда упёртая была, комсомолка. Подумала – совпадение. Игра подсознания, гипербола жизни, случайный феномен, сенсорика человека-невротика, хлебнувшего с юности немало тягот.

Если б я знала тогда, сколько этих случайных феноменов и гипербол жизни ещё случится! Взять хотя бы ту же самую квартиру на Тулебаева со старым кустом сирени под окном моей спальни, где с первых же дней станут мне сниться гробы с открытыми крышками.

Будто спускаюсь я во сне в подпол – а жили мы на первом этаже – спускаюсь и вижу сплошь гробницы, люди там лежат почти живые, не истлевшие, спят. Узкие проходы, тесно. Не то чтобы страшно. Не по себе как-то.

Преследовали меня эти сны.

Только потом, когда уедем оттуда в Горный Гигант, дотумкаю, узнаю, да и старожилы подтвердят, что дом на Тулебаева возле Кафедрального собора стоит. Нетрудно было догадаться, что жили мы на прицерковном кладбище. Раньше ведь кладбища возле храмов размещались.

Вроде бы никакой мистики в этом нет, да только несчастливым тот дом оказался. Жили мы там пятнадцать лет, и все пятнадцать лет выносили жильцы гроб за гробом.

Сначала сын известной артистки Бикен Римовой умер, в 39 лет, потом жена секретаря ЦК Казыбаева умерла в 61 год, потом сам Казыбаев, 61 год, помощник Кунаева Котунов, 58 лет, инструктор ЦК Дюсенбаев, 58 лет, жена писателя Шерхана Муртазы, 61 год, дочь инструктора ЦК Безрукова, 33 года... Так и выносили гроб за гробом. И вот что странно, не было в этом доме почти свадеб и не было почти детей, родившихся в нём.

Съехали мы оттуда и вздохнули свободно. Перестали гробы сниться.

* * *

В связи с этим рассказом вспомнился другой рассказ моего странствующего отца, который суевериями не страдает, но вот его почти мистическое откровение о Баянауле:

«Долго стоял я у каменной скалы Батыркемфир и у скалы Шайтанкоз. Есть у местных казахов поверье, что скала Шайтанкоз – скала мифическая, может в трудный момент оказать помощь человеку, а может и навеять несчастье.

Скала Шайтанкоз – подобие мрачной громады с двумя овальными, словно рваные глазницы, проёмами, из которых в тот момент, когда я подошёл к ней, слепило грозное белое солнце. Словно сама нечистая сила заглянула мне в душу.

Подул ветер, разгоняя мрачные тучки, почудилось, что Шайтанкоз нахмурилась, снова сверкнула белым зрачком и снова нахмурилась. И тут я почувствовал странное недомогание, сильную головную и глазную боль. Глаза будто кровью налились. Стало вдруг тоскливо и одиноко. Бурный восторг открывателя, желание летать или превратиться в орущий во всё горло ручей, сменились унынием и страхом. Я был разбит и подавлен...

Не тот, видно, я человек, что девственно-чистые, сказочные места, о которых я мечтал, не приняли меня.

Не они не понравились мне. Я не понравился им!.. А тут ещё ворона на суку сидит и словно насмеяется, мол, блудный ты сын, блудный ты отец, и чего тебя чёрт носит, чего тебе дома не сидится?..

– Кррак-кррак, Иван, – дуррак!..

Ах ты, мать честная, думаю, не то что мёртвое, но и живое против меня восстало...»

В царстве Пана

О гармонии живого с живым и мёртвым меня всегда потрясал рассказ моей мамы о её родном дяде, школьном учителе Павле Константиновиче Коновалове, которого она звала Пан. У меня даже об этом баллада сочинилась.

I
Дед двоюродный учитель был,
Мать учил по математике.
Оказалось – стал мучителем.
Невзлюбил её с характером.

*«Вот тебе и кол, и двойка.
Оставайся-ка на осень».*
Невзлюбил он имя Зойка,
Нос задиристый, курносый.

*А когда племяшка выросла,
Вышла замуж за Ивана,
Называла деда иродом,
Чёртом, косоротым Паном.*

II
Выйдет Пан поить скотину,
Козлоногий и страшной,
А за ним, как за чертиной,
Конь идёт на водопой,

*За конём идёт корова,
За коровой индюки,
Гончий пёс и пёс дворовый,
Гуси, куры, петухи...*

III
– Глянь-ка! Вышел! Косоротый,
Козлоногий Пан, чертина,
Чёрный маг чистопородный.
Как идёт за ним скотина! –

*Скажет мать и ненавистно
От окошка отшатнётся.
Ты ей хоть под ухо свистишь,
Всё злословит и смеётся.*

IV
Но однажды в школе чинно
В класс зашла вся в чёрном завуч:
«Умер Павел Константинович», –
Так печально вдруг сказала.

*И пошли на панихиду
Мы всей школой, было странно,
Не куда-то, а в обжитый,
Страшный дом самого Пана.*

*На подушечках у гроба
Знак Почёта, Орден Славы.*

*Вот тебе и косоротый,
Вот тебе и Пан картавый.*

*Ляжет к деду в гроб котище,
Чёлку свесит конь буланый.
Плача с нами, до кладбища
Провожали звери Пана.*

Бывают необъяснимые минуты и в моём диком царстве. Каждый год меня изумляет странная пара-тройка дней в июле и в начале августа. Встаю в восемь утра, иду к зелёному рукомойнику, и мне становится страшно от того, что я вижу на террасе. Везде валяются убитые и растерзанные крысы. Терраса словно кровоточит и вопит следами крысиного побоища. Радости мало.

Боже мой, как грязно живёт город, если даже в диковатом красивейшем предместье можно увидеть подобную картину!

Но что это? Почему сие закономерно случается один-два раза в году примерно в одно и то же время? Крысиные свадьбы? Зов тектонического разлома? Аномалия? Массовый исход крыс и нового крысиного потомства из города? Почему именно сюда? И почему сегодня на поле брани ничего не съедено? Кошки объелись? Или кошки выхваляются передо мной? Хотят поразить воображение, заработать очки? А может быть, луна такая? Особое время агрессии и кровавой демонстрации? Этакое триумфальное шествие и торжество светлых сил над нечистью?..

Подозрение, что кошки выхваляются и нагнетают впечатление, усиливается, когда я замечаю, что нередко головы, туловища и хвосты крыс валяются отдельно друг от друга, отчего количество убитого полчища кажется ещё больше. Преодолев отвращение, я закапываю и смываю следы кошачьих геройств, показательной преданности и любви.

В такие дни кошки ленивы, грустны, подолгу спят и, наверно, находятся под впечатлением своей Варфоломеевской ночи. Тайну сию великую я не в силах ни понять, ни разгадать.

Кажусь себе очень диким пещерным человеком.

«Ну что, Диана, внучка Пана козлоногого, чего приуныла?» – говорю я себе, стараясь взбодриться. Но грустное ощущение какой-то катастрофы, вселенского катаклизма не проходит. Всего-то пять лет назад, когда я нашла этот прелестный уголок земли, который приснился мне во сне, здесь в окрестностях было всё первозданно чисто, тихо и мило.

* * *

Моя дорога в горы на дачу была когда-то дорогой счастья.

Сразу от автобусной остановки приходилось пересекать дикий огромный парк Аксайской детской больницы, полный кекликов, фазанов, диких голубей, кукушек и соловьёв. Была в этом парке огромная ясная поляна, куда приводили гулять больных детей. Травка шёлковая, одуванчики и кукушкины слёзки радовали глаз. Порою в тихое безлюдное утро хотелось повалиться в этой райской благодати, полежать с пронзённым восторгом сердцем, глядя в голубое небо, где плывут облака.

Да опоздала я.

Буйно, торопко растёт весной трава, стыдливо закрывая срам человеческий. Лопушком, как ладошкой, то банку консервную прикроет, то хлам, то мусор. Купырём кружевным тары пластиковые скрыть пытается. И не восторгом

упавшему в эту травку может пронзить сердце, а острым бутылочным осколком, штырём или проволокой арматурной. И чем дальше, тем страшнее. Ещё вчера вроде не было их – гнусных свалок да терриконов мусорных, а теперь горы выросли. Дыбятся пузырями пластика, лохмотьями целлофана, отбросами и бутылками. И всего гнуснее то, что в самую что ни на есть лютую жару кто-нибудь нет-нет да подожжёт этот срам.

И чадит он долго и неторопливо на детскую больницу, где лежат по три-четыре года ребятишки с ортопедическими заболеваниями.

Два года уже как не выводят их нянечки в их законный парк, так как проложили теперь через парк пыльную грунтовую дорогу, появились горы мусора вдоль этой дороги, а парк в свалку превратили, в место разграбления земли под особняки и гаражи.

То же самое и за парком с бывшими колхозными садами сделали.

Сады молодые. Яблоням лет по двадцать пять, не больше. Всё делается для того, чтобы погибла красота. Поливать перестали эти сады. Заборы да свалки со всех сторон. Вот и жиреют крысы и тьмой тьмущей плодятся. Доводилось мне видеть и белых, и чёрных, и коричневых, и в полосочку.

Самое пошрое, что слушать об этом никто не хочет. Пробовала я писать, бить в набат. Увидела только равнодушные свиные рыла.

А мне всё снится Алма-Ата, какой её любил когда-то мой отец. Алма-Ата, какую любила я в юности, её людей, неспешный уклад жизни, добродушный нрав жителей, которых уже нет, и ничего уже никогда не повторится. Даже речушки и тропинки вдоль них. Даже тот свет меж деревьев. Даже небо...

Подстава

1

Помнишь, как у нашего старого доброго друга Илюши Арзамасова случился инсульт? Надо было ехать к нему в Москву, чтобы не думал, что навещаем его только здоровенького и весёлого. Сидели, думали, а вдруг он совсем плох и всё у него в глубоком упадке. Один как перст. Вдруг совсем на ладан дышит? Любимый писатель. Собрат.

Так оно почти и было. Плох. В глубоком упадке. Дома чёрт ногу сломит, краны текут, дверцы шкафов падают прямо на ноги. Сам зарос щетиной. Сторожится, в дом никого не пускает, никому не верит. Слишком много нынче убийств в Москве, особенно стариков и ослабевших. Живут по принципу: «падающего – подтолкни».

Жили мы у Илюши дней десять. Он как ребёнок, разучился хозяйствовать. Еле ходит. Одно плечо косит, тело как мешок.

Купили ему дорогую красивую кастрюлю из огнеупорного стекла, варили борщи и мясо, наводили порядок. Ты даже трусы и майки его перестирал...

Илюша расцвёл, замурлыкал как кот, позвонил в Париж сыну, похвастался, кто у него в гостях и как ему хорошо. Наплёл с три короба. Завысил наши акции так, что ангелами нас назвал. Даже стихи сочинил.

Расчувствовавшись совсем, уже накануне нашего отъезда, он вытащил поношенные модельные сапоги своей безавшей от беды любовницы и предложил мне в подарок.

– Такие не ношу, бог с тобой, Илюша, – оскорблюсь я.

Тогда он достанет из кладовки и всучит мне белый тонкий поясок из кожама.

– Заче-ем? Он же искусственный?! – я просто обалдею от унижения и стыда за Илюшу.

– Да, но он совсем новый, – раздражённо, впадая в ярость, станет настаивать Илюша. – Что за бестактность в конце концов! Бери! – он затрясся.

Мне придётся подавить свой внутренний ропот, чтобы не травмировать его.

Смешно, но я уеду с неприятным осадком на душе. Ну и жмот этот наш Илюша! Как не стыдно – богатый человек, торговец антиквариатом, имеет магазины... Что за жидовские штучки! Ей-богу, если уж на то пошло, жест мог быть куда более красивым.

Но я поторопилась тогда с приговором, забыв добрую до святости русскую поговорку: «Дорог не подарок, а внимание!» Он как знал, во что мы вляпаемся.

Очень скоро жизнь показала: надо уметь дорожить вниманием своих друзей. Ибо неоценённое внимание может оказаться драгоценным, а может быть, даже спасти вам жизнь.

Нет, в пояске не было замаскировано золото, а пряжка не была из старинной дорогой чеканки. Одно только провидение знает, зачем оно делает свои загадочные жесты...

...Когда в поезде поднимется жара до пятидесяти градусов, станет очевиден тот факт, что наше окно в безнадежном ступоре и ни за что не откроется, что мы попали в душегубку! Что это адова ловушка, а может быть, даже смерть.

В ответ на нашу просьбу что-нибудь сделать проводник глумливо развёл руками.

Тут-то и пригодится он – отдарок нашего Илюши, крепкий, совсем новый ремешок из кожзама. Узкий и длинный, ровно настолько, сколько было надо, он стал нашим спасением. Отчаявшись найти что-либо более подходящее, мы подвяжем этим ремешком отслуживший своё шпингалет, откроем окно и очень ловко и крепко зафиксируем его внизу.

В купе хлынет упоительное счастье свежей прохлады и подарит нам три дня безмятежного путешествия. А скаредный наш, трижды благословенный в тот миг друг юности овеетя новым ореолом приязни.

2

...Но ты не знаешь, что до этого будет ещё одна страшная минута. Теперь я рассказываю это спокойно, но тогда... тогда, кроме всего прочего, мне станет ясно, что в нашем купе не только адская душегубка, жара и ступор, но нам ещё подсунули наркоту! Вот это был ужас!

Ты беспечно уходил то в сон, то в чтение, то в тамбур, и многое не заметил.

Передо мной же разворачивалась следующая картина – до нас купе занимали проводники. Они забыли после себя игральные карты, бутылку водки и свой заварник. Под нижней полкой, прямо у меня под головой, стояла посторонняя черная сумка. И когда феноменально вежливый проводник стал обращаться к нам по именам, потом, любезно извиняясь, приходит и забирать по очереди свои забытые вещи (как бы забытые вещи), все до одной, кроме сумки, стало понятно, что это уловка. Подозрение моё крепло.

Наш узколицый проводник был смуглым юношей, и его смертельная бледность при первом же таможенном осмотре не могла не броситься в глаза. Опять же, эта приторно-сладкая вежливость и перенасыщенное адреналином поле...

Благополучно пройдя таможенный осмотр, молодой проводник так повеселел и лучезарно заискрился, что даже стал флиртовать со смазливими пассажирками. Возбуждение его передавалось.

Предстояло проехать ещё одну таможню. Беспокойство росло. Так бывает, когда в дороге тебе кажется, что дома не выключен газ.

Вдруг я увижу внезапно появившихся двух ментов и засуетившегося, снова побледневшего, как смерть, проводника. Тогда я подойду к нему и тихо скажу:

– Уважаемый, пожалуйста, заберите посторонние вещи из нашего купе.

Он побледнеет ещё сильнее, обомрёт:

– Какие вещи?!

– Чёрная сумка. Идёмте. Вот эта!

– Это не наша, – он пожмёт плечами, деревянно развернётся и деревянной походкой вернётся в своё купе, куда уже зашли два милиционера.

«Никогда, никогда не надо брать места рядом с проводниками!» – запикиую я. Выволоку черную сумку и загляну... Ничего себе! Сколько же нам светит, если эту дрянь обнаружат среди наших вещей? Тяжёлая. Лет на пятнадцать тюрьмы потянет. А то и на двадцать.

Было до жути ясно, нас подставили!

Пронесёт, как на первом посту, или не пронесёт? А если не пронесёт? Надо было соображать быстро. Мы везли с собой крупную сумму честно заработанных денег, дураки. Доказывай потом, что ты – ангел.

До таможенного поста оставалось минут семь-восемь...

Я снова увижу ментов. Они рыскали по вагону и держали носы торчком. Было ясно, мы вляпались по уши.

Может быть, это было неправильно, но я с облегчением посмотрю на запахнутое окно. Белый ремешок крепко держал его. Поезд мчался в синие дали. В облаках парила чайка. Никто ничего не видел... И сумка, которая весила этак тысяч на сто баксов или на пятнадцать лет тюрьмы особо строгого режима, или десятки загубленных жизней, полетит в окно под откос, в серое скопление воды под названием ильмень.

Второй таможенный осмотр был особо долгим и тщательным. Наше купе обшарят два раза с собакой.

Когда поезд наконец-то тронулся и свежий, пахнувший морем бриз ворвался в купе, ты безмятежно читал книгу стихов Варлама Шаламова, купленную в Москве. Там было такое четверостишие:

Вся земля, как поле брани.

Поле битвы вновь.

Каждый куст как будто ранен,

Всюду брызжет кровь.

Я пойду за кипятком и столкнусь нос к носу со вторым проводником. Это был толстенный черный верзила с золотыми зубами и широким, как таз, мясистым лицом. Из него пёрло радостью успеха и здоровьем. Он был взвинчен до предела этой радостью.

– Жарко! – ослепительно улыбнулся он мне, смачно потёр руки и крикнул.

Я наберу кипятка и увижу другого, того, узколицего проводника. В отличие от дышащего смертельным пофигизмом и весёлостью своего напарника, узколицый был всё ещё бледен и подавлен. Он осунулся и напоминал выжатый лимон. По черным кругам под глазами и выражению его лица было видно, что парень очень болен, но ещё не знает о своей болезни. Глаза его были печальны, а черты неплохого, неглупого человека имели страдальческое выражение боли, брезгливости и фатального всепонимания. Эти измученные глаза словно говорили: «Сволочь я! Тварь последняя, змея подколотная, что же я делаю – людоед кровожадный! Шакал я паршивый, надо с этим кончать!..» Он избегал моего взгляда.

На конечной станции, где мы выходили, чудом уцелевшие с поля битвы, он, приветливо кивавший прощавшимся с ним пассажирам, снова отведёт, спрячет свои измученные глаза от меня.

И я оставлю на его совести жизнь и судьбу – как его собственную, так и тех, кого он, дай Бог, больше не подставит, не загубит, не предаст.

* * *

Хорошо, тепло у летних костерков длинными звёздными вечерами. Кажись, уже всё рассказано-пересказано друг другу, и удивить уже нечем. Ан нет. Рахимберды продолжает.

Девушка мечты

Случилось мне как-то проездом заночевать в родном посёлке. Ни близких, ни друзей к той поре там у меня уже не осталось, кроме моей одноклассницы Фалихи. Жила она в маленьком тесном домике, однако, несмотря на бедность, приняла меня радушно. Накрыла дастархан, поставила бутылку водки, пода-ла мясо. Всё честь по чести, по старому обычаю степняков.

В школе Фалиха славилась своей красотой, и я, как говорится, когда-то неровно дышал в её сторону. Вспомнил за дастарханом молодость и снова почувствовал себя юношей. В свои пятьдесят Фалиха всё ещё была хороша собой и поглядывала на меня с несвойственным нашему возрасту любопытством. Я тоже не остался равнодушен. Долгая командировка, тоска по домашнему теплу были тому виной. Конечно, Фалиха сильно изменилась за эти годы, но казалась всё ещё девически стройной и весёлой – ни одной сединки в волосах.

Я в сравнении с ней был уже белым как лунь, старым пижоном, ни стройностью, ни статью не отличался. Да и зубов таких сахарных, как у Фалихи, у меня давно уже не было – сплошные фиксы. Как же лестны мне были её ласковые слова и жалобы на одиночество.

С первой же рюмкой, которую мы выпили за нашу школьную дружбу, огонь жизни вернулся в мои жилы, заставив нести блаженный вздор и комплименты в адрес этой женщины. Она не отвергала моих ухаживаний, шутила, даже прихорашивалась перед зеркалом. Однако большие глаза Фалихи сделались ещё больше, когда я признался, что в школьные годы был влюблён в неё.

– О, айналайын, спасибо, что скрасил мой пасмурный вечер. Давай лучше выпьем... – усмехнулась она и вдруг осеклась. Приложила палец к губам.

Стукнула обитая войлоком дверь, и в проёме показалась молодая женщина лет двадцати пяти, как две капли похожая на Фалиху, но на Фалиху моих школьных дней. Девушка юношеских грёз стояла передо мной. Её нежное лицо пылало стыдливым румянцем, глаза смотрели с удивлением и озорной живостью, свойственной молодости.

Да, это была дочь Фалихи. Я был потрясён. Девушка неспешно сняла плащ и лаковые туфли. Стройная, ладная, как Фалиха в юности, она присела к нам лишь на пять минут, загадочно улыбнулась мне и тут же засобиралась спать.

Поражённый загадочной улыбкой девушки и её сходством с матерью, я озадаченно замолчал. Фалиха школьных лет будоражила моё воображение, а Фалиха настоящая, тихо прибрав посуду, задумчиво опустив голову, сидела рядом.

– Пожалуй, пора и нам укладываться, – смущённо помявшись, предложила Фалиха и пошла стелить мне в единственной в доме спальне, куда удалась её дочь.

Я неловко огляделся. Узкая передняя, где мы только что пировали с Фалихой, не располагала местом для раскладушки или тюфяка. Теснота и убранство, напомнившие мне обычную степную юрту, где нет ни особой мебели, ни

кроватей, не оставляли выбора. Я понимал, что спать мне придётся, как в детстве, на полу в соседней просторной комнате. Это почему-то волновало...

За полуприкрытой дверью было видно, как стелет постель дочь Фалихи. Девушка лишь на секунду вышла из спальни, снова загадочно улыбнулась мне и, призывно взглянув, ускользнула в свой уголок – направо.

Ах, Фалиха школьных грез! Звезда моя. Милая девочка. Всё смешалось. Этот взгляд. Эта улыбка. Теперь я только и делал, что думал о ней. Сойдя с ума и совсем опьянев от последней рюмки, я чутко ловил каждый её вздох, каждый звук.

Погас свет, все разлеглись по местам. Я точно знал, что девушка расположилась в дальнем правом углу, и когда все мы притихли под своими одеялами, я понял, что лежу между двух огней, где-то в середине комнаты, у двери. Замерев и беспрестанно прислушиваясь, я начал своё терпеливое ожидание.

Вскоре послышалось ровное, глубокое посапывание той, что лежала слева. Теперь она представлялась мне уже не хозяйкой дома, а грозной владычицей моего сердца. Её чуткий сон стерёг мою синюю птицу удачи. Я кашлянул, шумно заворочался и снова прислушался. Ровное, глубокое посапывание стало ещё ровнее и глубже, и я пополз к девушке своей мечты. Я полз тихо, замирая от страха быть разоблачённым, но, едва коснувшись нежной руки, осмелел и стал осторожно гладить и ласкать сначала руку, потом стройное крепкое тело, робко подбираясь к запретным местам. Наконец, стараясь сдерживать шумное дыхание, я поцеловал её в губы. Она не оттолкнула меня. Тогда я осмелел окончательно.

* * *

Не веря своему счастью, находясь на десятом небе, я долго не мог прийти в себя. Мне даже показалось, что всё это мне снится. О Всевышний, даже если мне это снилось, всё равно я боялся разоблачения и скандала. Скованный стыдом и страхом, не скажу, что был в ту ночь на высоте!.. И вдруг... что я слышу!!!

– Спасибо, айналайын!.. – жарко обдаёт меня грудной, насмешливо-ласковый голос Фалихи.

– За что, жаным?! – изо всех сил стараясь казаться ласковым и невозмутимым, тихо вскричал я.

– За всё!!! – Фалиха чуть слышно засмеялась, освобождаясь из моих объятий.

В окно давно уже светила луна. Изящная головка и девственный лик дочки Фалихи, освещённые млечным сиянием, покоились далеко-далеко, в левом углу. Две длинные косы, как две черные змеи, лежали на белых подушках, словно охраняя сон девушки. Ничто не могло потревожить её лёгкого чистого дыхания, даже сияние небесных светил, даже шёпот в углу. Я пристыженно замолчал, так и не поняв, когда же Фалиха успела поменяться с дочкой местами...

Записка

Помню, работал с нами в газете белобрысый добрый еврей Семён Гирш. На редкость мягкий, золотой характер. И внешность колоритная, можно даже сказать, приятная. Короче, приятный во всех отношениях человек. Длинные зимними вечерами зааживал Семён Гирш к нам, молодожёнам, на огонёк. Охотно играл с нами в буриме, был немного влюблён в хозяйку, читал иногда свои переводы с английского.

Кто знает, может быть, так и тянулось бы наше немудрящее житьё-бытьё. Да только однажды был назначен Семён Израилевич ответсеком нашей газеты. Стал вдруг рассеянным и многодумным, посерьёзней, и как-то сами собой прекратились наши зимние посиделки с буриме и английскими переводами.

Дело понятное, работы у ответсека невпроворот. Загордился Гирш, нос воротит. Бывало, приветствие едва процедит. Проходит мимо, глаза стеклянные.

А тут ещё в ночь под Новый год выпало моему мужу дежурство в газете. Обычно в такие вечера номер газеты верстался попозже, к 11-12 часам, а потому наш брат газетчик не очень-то спешил в редакцию от предновогоднего застолья. Попробуй-ка, оторвись, если на столе пельмени со сметаной.

Помню, минут этак в двадцать десятого раздаётся звонок в дверь. Открываю, а на пороге наш курьер Игорёк с запиской от Гирша.

Дёрнул же меня черт прочитать эту проклятую записку за сто восемьдесят минут до Нового года:

«Сударь, думается это – свинство с вашей стороны – задерживать выпуск номера в праздничный вечер!» – резко прыгая, кричал корявый почерк Гирша. Того самого Гирша, который ещё недавно говорил, что человек познаётся в экстремальных ситуациях. Что тот, кто обнажил хотя бы один нерв прилюдно – слабак.

Дальше была приписка: «Засранец!!!»

Не знаю, что чувствовал мой муж, отправляясь подписывать праздничный номер, а мне было почему-то нехорошо от такой неожиданной резкости старого доброго друга. Как ни успокаивала я себя, а ощущение холодной, бьющей наотмашь струи не проходило. Оно ещё долго вспоминалось потом при появлении на моем горизонте Гирша. И Гирш всем своим видом усугублял это чувство ледяного холода. Дошло до того, что, встречаясь на улице, он стал делать вид, что не узнает меня. Это было так дико, что мне даже показалось, что Гирш умер. Осталась его странная, шаркающая тень, одетая в плащ стального цвета и толстые роговые очки. Да только неисповедимы пути Господни!

Как-то лет пятнадцать спустя, уже здесь, в Алма-Ате, слышу в телефоне дивный, неподражаемый голос Семёна Гирша. Спрашивает эта Тень о нашей семейной жизни, об успехах и просит номер рабочего телефона моего мужа, причём не секретарши, а прямой.

– Надеюсь, вы помните меня, Оленька? Семён Израилевич! Какие-е-это-были-ве-че-ра-а! Помните буриме, электрический камин, картофель фри на сливочном масле? Вы знаете, я всё ещё занимаюсь переводами. Вот, хотел устроиться под крыло вашего супруга. С его благословения, так сказать. Как он там?.. Соскучился я по вам.

– А как насчёт того, чтобы к нам – на огонёк, Семён Израилевич? В буриме поиграли бы... Думается, это... с... странно с вашей стороны – забывать старых друзей на целых пятнадцать лет! – мягко усмехнусь я. – Милости прошу к нашему шалашу.

Не знаю уж, вспомнил Гирш или не вспомнил тот давний новогодний вечер. Но только мужу моему он так и не позвонил.

Говорят, бедствовал какое-то время, обивал пороги редакций и издательств; но с визитом нагрянуть всё же постеснялся. Хотел было мой муж разыскать его, услышав о горестях старика, да только Гирш вскоре уехал в Израиль.

И снова донеслись скорбные, нелепые слухи о бедствиях и скитаниях старого Семёна Гирша. Такие скорбные, что как-то сами собой притупились обиды вместе с памятью о резкой корявой записке про журналистское свинство. Забылись и пятнадцать лет нашего отчуждения. Повесился он. Не выдержал мытарств, жары, чужбины.

А мне всё чаще и чаще вспоминаются счастливые зимние вечера у камин... Захаживал к нам, влюблённым без памяти молодожёнам, старый добрый друг Семён Гирш. Охотно играл с нами в буриме, читал свои переводы с английского. И горькая водка в те времена называлась своим именем – просто Водка.

Поговаривали, будто смерть Гирша была связана с гнусным оговором: будто убил и ограбил Гирш человека. Пустил по миру женщину, которую любил, осиротил детей. Очень сильно жалели мы старика. Да и какой он старик – шестьдесят пять лет было ему.

Много лет спустя нам подробно расскажут, как у повесившегося Гирша позже найдут в его старых пожитках немаленький бриллиант – ценой в целое состояние. И предсмертную записку, в которой было написано вот что: «Свет солнца, попав в наши глаза, сияет в них драгоценнейшим среди всех сокровищ мира. Но почему, почему мы не бережём его так, как банальный бриллиант, который хоть и прекрасен своим холодным мерцанием, но не несёт и тысячной доли смысла и радости наших любящих глаз?»

И так вдруг захочется рассказать о тех благословенных временах, когда люди были простодушны, естественны и по-детски непредсказуемы, потому как жили по велению сердец, которые умели любить и прощать. Прощать и любить как никогда.

Любовь и грозы

Это было на заре моей туманной юности. Три семнадцатилетние девчонки – Весна, Сирень и Ветерок шлялись по занесённым тополиным пухом солнечным улочкам.

В моде была стрижка «гаврош», белые мини-юбки и перламутровая помада. Наперекор моде я шла с распущенной до пояса каштановой косой, в клетчатой юбке-шотландке, и лицо моё ещё не требовало прикрас.

Тогда-то я и увидела его – стройного высокого моряка с глазами цвета морской волны. Его черные брюки клёш подметали мощённые бульжником тротуары. В глаза бросалась тонкая талия, узкие бедра, как у испанского тореадора, и дерзость во взгляде.

Сердце моё ёкнуло. Вот он! Только такого! Другого уже не будет никогда.

Эта мысль пронзила меня и стала развиваться с молниеносной быстротой: неужели он пройдёт сейчас мимо и неведомые горизонты поглотят навеки эти удивительные глаза? От отчаяния я выронила сумочку прямо ему под ноги. Он споткнулся. Поднял сумочку и галантно преподнёс мне. Дальше всё завертелось как в волшебном сне.

Моряк пригласил нас на городскую танцплощадку и танцевал со всеми троими по очереди. Это он придумал нам такие ласковые прозвища: Весна, Сирень и Ветерок, поскольку, наперебой кокетничая с ним, мы просили, чтобы он угадал наши имена. Но не тут-то было. Танцуя со мной, он называл меня Сиренью, и мне казалось, что это самое прекраснейшее из имён, которое он мог придумать. И это тогда, когда зеленоглазая Зинка таяла от его признания, что она воплощённая Весна. Всё это он шептал нам по очереди, танцуя с нами, и все трое были на седьмом небе от счастья. Но с особой лаской и туманом в глазах он повторял своё «Ветерок» невзрачной Наде Савельевой, которой, в конце концов, отдал предпочтение. Возможно, он сделал это от жалости к ней, однако для меня это было хуже катастрофы. В то время я была броской смазливой девчонкой. Избалованная вниманием парней, я была уверена, что моряк по праву должен принадлежать мне и только мне.

Он будет моим, с оптимизмом вспомнив большой Надькин нос, сказала я себе утром и купила перламутровое ожерелье.

На следующий вечер мы снова пошли на танцы. Я впервые намазала губы и до мелочей продумала свой наряд. Отбоя от кавалеров не было.

Но вот появился мой туманноглазый, стройный, как тростинка, моряк и, даже не заметив меня, прошёл мимо. Когда я поняла, кого он ищет, я стисну-

ла зубы. Это было непостижимо. Он шёл к Наде Савельевой, так ослепительно улыбаясь и так заворожённо глядя на неё, точно вокруг в целом мире никого не было. А когда обнял её в медленном танго, то показалось, что дорожке её у него никого нет. Почему именно она?! Надя была хрупкой бледной девушкой с размытыми чертами и сомнамбулически сонным выражением лица. Порой это выражение казалось даже неприятным. Она не имела успеха у парней, но держалась как принцесса. Многие фыркали ей вслед. Куда бы ни шло – Зинка! У той – фигура и глазищи.

Ничего не понимая, я погибала у всех на глазах. Я стояла, не сводя со своего моряка глаз, никого не слыша и не видя, готовая разорвать свою соперницу на куски. Ночью, молча глотая свою обиду, я снова и снова вспоминала счастливую Надьку, её белые ресницы, крупные красноватые руки, и пришла к оптимистическому заключению, что моряк блефует. А если не блефует, то слеп как крот. Одна эта мысль делала меня несчастной. Может быть, он любит модниц? Я отрезала свои роскошные косы и заказала себе белый льняной костюмчик с приталенным силуэтом.

Стрижка «гаврош» оказалась мне очень к лицу. Белые клипсы и белое ожерелье из перламутра неотразимо подчёркивали мой итальянистый загар.

В меня влюблялись самые козырные парни города. Мне наперебой назначали свидания, сыпали комплименты и угрозы. Но, словно зачарованная, я смотрела только в сторону своего моряка. Точно ослепнув и оглохнув, я ничего не слышала и не замечала накала страстей вокруг своей персоны. В воздухе запахло грозой.

И вот подходит ко мне однажды знойный юноша, похожий на перса, и с ненавистью, наотмашь бьёт меня по лицу. Ноги у меня подкосились.

– За что-о? – только и выдохнула я.

– За всё!!!

Он не договорил. Его тут же подсекли подножкой.

Мой увлечённый танцем моряк по-прежнему ничего не видел и не замечал.

Ах, как я мечтала, чтобы он бросился мне на помощь! С каким отчаяньем я выкрикнула его имя. Однако желающих заступиться за меня оказалась целая куча. Завязалась жуткая драка, которая точно косо выкосила половину танцплощадки.

А мой моряк всё танцевал и танцевал своё меланхоличное танго, не отрывая глаз от Нади Савельевой. Теперь-то я понимаю, что только это спасло его от ножа, но тогда...

Отпинав знойного перса, а заодно и кое-кого ещё, давний мой дыхатель по прозвищу Флинт подошёл ко мне и цинично процедил, что сделал бы со мной то же самое, только хуже.

– Если уж я вмажу тебе, киса, то ты не встанешь. Поняла?! Даю три дня на размышление. Выбирай – я, молодость или... сгниёшь дома на печке!

Для пущей убедительности он поиграл ножичком и предупредил:

– Не ходи одинокой, киса, вяпаешься!

Флинт мне был отвратителен. Мрачный демон в черных очках, он покуривал травку, и на его счету была не одна тёмная история. Я боялась его.

Проклиная его и свою участь, я действительно всё лето, как старуха, пропадала дома. Мать велела мне варить варенье из вишни. Шёл дождь, гремел гром, я даже видела настоящую шаровую молнию. Она была ослепительно голубая и грозная, как моя любовь к моряку, а в воздухе пахло пронзительной свежестью и озоном. Какое это было прекрасное время! В один из таких грозовых дней сразу три сногшибательные радости обрушились на мою голову. Флинта арестовали. Надька поссорилась с нашим Моряком, а моряк... моряк передал мне пламенный привет через Зинку.

Окрылённая, я надела свою белую юбку с широким кожаным ремнём, белые клипсы, белое ожерелье и помчалась вечером на танцы.

Мой моряк танцевал с Зинкой и то и дело посматривал в мою сторону. Второй танец он снова танцевал с Зинкой и снова смотрел на меня сумасшедшими глазами.

– Зачем ты обрезала волосы??? – нежно, с укором спросил он, когда я подошла к ним.

– А ты только заметил?! – горько усмехнулась я.

– Боже, как можно тебя не заметить, ты так прекрасна! – голос его изменился.

– А как же Надя? – заволновалась я.

– Надя совсем другое.

– А я?

– О тебе я и мечтать не смею.

– Это притворство или заниженная самооценка? – засмеялась я.

– Это страх. А вдруг откажешь?

– Я никогда тебе не откажу. Слышишь, никогда!

Через три недели он предложил мне выйти за него замуж.

В назначенный день наш свадебный кортеж направился к ЗАГСу.

Была суббота. Золото осеннего парка, прозрачная синева неба. Невесты, как снежные королевы, затмившие своих женихов, ослепляли красотой. Ни одной дурнушки. Или это только счастье делает всех прелестницами? Брачующихся было шесть пар, пришлось ждать и томиться.

И вот в то самое время, когда мы были уже почти у цели и настал момент, когда мы должны были пройти к столу с кольцами, я вдруг заметила, что что-то происходит. Нет, на самом деле всё было по-прежнему чинно и гладко. Такое можно почувствовать только кожей или подсознанием. Короче, я вдруг обнаружила, что мой моряк сделался каким-то странным и напряженным. Его точно подменили. Он больше не был моим. Он будто не видел меня, а оглядывался всё время назад. Потом неожиданно холодно произнёс: «Прости, я сейчас», и решительно направился к свадебной паре, которая шла за нами, в хвосте очереди.

Приглядевшись, я обомлела: мой моряк, ослепительно улыбаясь, ворковал с очаровательной молодой невестой. Что-то знакомое почудилось мне во всём этом: её улыбка, белёсые бровки и его вспыхнувшие глаза, которые я так жадно ловила и не могла поймать. Подобное, щемящее до боли, уже было, было. Но где? Сердце моё забилося. Приглядевшись хорошенько, я не поверила своим глазам – это была Надя Савельева. Они буквально вцепились друг в друга и не могли оторваться, словно некогда разлучённые. При этом их лица сияли так, будто они выиграла миллион.

...Бедный, бедный Надькин жених! Он был отстранён и низвержен. Он был смешон. Но его глаза... Даже если бы я вообще перестала что-либо соображать от горя, я не могла не заметить, какие прекрасные были у него глаза. Сердце моё сжалось: «За что страдает этот человек, видно, очень хороший, вместо того, чтобы... чтобы... Да знает ли он, что эти двое...» Он растерянно взглянул на меня, и жалкое подобие улыбки мелькнуло на его лице, в его умных глазах. Он глядел на меня с жалостью и... и откровенным восторгом. Восторгом – солидарности. То же самое, наверно, было и во мне. Это объединило нас.

Нет, я не вцепилась в волосы Нади Савельевой, а её жених не бросил перчатку в лицо сопернику – они всё равно бы ничего не заметили. Произошло невероятное.

Чтобы разрядить обстановку, Надькин жених подошёл ко мне и, усмехнувшись, произнёс:

– Что ж, в таком случае позвольте пригласить вас на вальс Мендельсона. Андрей, – он протянул мне руку.

– Марш Мендельсона! – рассеянно поправила я, смеясь сквозь слёзы, и пошла ему навстречу.

– Всё у нас с вами впереди: и вальсы, и марши, – мягко, как во сне, сказал он.

– Да... – прошептала я.

С этими словами мы направились к столу, выполнили формальности и гордо прошагали мимо нашей сумасшедшей парочки, которая явно не видела нас. Они по-прежнему стояли, крепко взявшись за руки, и не сводили счастливых глаз друг с друга.

Кажется, это было очень, очень давно. Весна, Сирень и Ветерок, вальс Мендельсона. Как это было чудно и пронзительно, как это было недавно. Не знаю, куда делась зеленоглазая девчонка по имени Весна. А мы четверо до сих пор счастливы. Оказалось, мы были созданы друг для друга именно в таком сочетании, как нас расставила в последний момент судьба.

Мой муж Андрей всё ещё подтянут и свеж. У него по-прежнему самые большие, самые глубокие и прекрасные глаза на свете. Он обливается по утрам холодной водой, поёт Фигаро и часто благословляет тот странный день и миг своего позора и счастья, когда его невеста Надя Савельева вышла замуж за моряка. «Я увёл тебя прямо из-под носа того лопуха, – любит наивно повторять мой муж, самодовольно посмеиваясь. – А ведь если бы я свалил дурака, кто знает...» «Ты был очень смел и нагл», – хохочу я в ответ и тоже ни о чём не жалею. Только такой мужчина, как Андрей, мог обворожить меня и заставить забыть навсегда голубоглазого моряка, который теперь при встрече вызывает только улыбку. Теперь никто бы и не подумал, что этот сутулый обрюзгший человек с седой бородой был когда-то стройным подтянутым моряком, по которому сохли чуть ли не все девчонки в округе. Он располнел. Стал краснолицым и суетливым, облетели, как на одуванчике, его мягкие милые кудри. И только в снах, глубоких снах, приходящих из моего детства, я всё ещё люблю его больше жизни, всё ещё танцую с ним зелёные и белые вальсы своей весны и, часто просыпаясь в объятьях другого возлюбленного, встречаю новый день с чувством невыразимой благодарности судьбе.

ВЕЩЕЕ СЛОВО

Рассказ Веры Коноваловой

Дед Савва – пасечник. Дальний наш родственник. Ласковый статный старик с молодой голубенью в глазах. Волосы мягкие, до сих пор вьются, как у ребёнка. Хороший дед. Только вот жёны у него помирают. Недавно четвертую схоронил. А сам крепкий, кряжистый. Флягу с мёдом один поднимает, да так и стоит, наливает прямо из фляги мне в баночку светлый майский мёд. Похвывается силой.

– Хочешь меня... в батраки? – заигрывает он, будто ровня. Да так крепко вдруг прижимает к себе, что не вырваться.

Я воздерживаюсь от резкости. Коноваловых у нас колдунами считают. Соседи злые, докучливые. Надо держаться с дедом заодно. Для батрака он стар. Но дружить дружу. Сколдовались мы с ним. Тут сколдуешься, когда рядом одни неприятности. Соседи мне в городьбу картошку гнилую из погреба кидают, бутылки, кости, мусор... И колдуну то же самое. А то вдруг в духотищу, в самое пекло дневное начнут жечь эту гадость. Дым, ад, жуть. Горящий пластик мертвецом пахнет, дышать нечем. А ночью спать не дают. Бэк, бэк, бэк – до утра тяжёлый рок, визги, крики, рыгают, плачут, ревмя ревут. Собак распустили. Они нам дыры в изгородях понаделали, бегают по рассаде, унаво-

живают двор где ни попада. Чтобы вам ни дна, ни крыши! А утром снова жгут старый мусор соседшки. Знаем теперь, чем пахнет гнилая прокисшая картошка вместе с пластиком в костре! Концом света! Чтобы у вас руки отсохли, природы! Чтобы вам тем же концом да по тому же месту!

– Нечисто живёте, Ася! Разве так можно?! Отравили вы нам жизнь. Дым, ор, шум.

Ася, худосочная, чёрная, с пластмассовыми зубами, поднимает глаза и вздрагивает. Прямо перед ней стоит колдун. Высокий, глаза, как у Пана лесного, бледно-голубые. Молнии мечут.

– А пошёл бы ты, дед! Какое тебе дело? Я у себя на усадьбе. Как хочу, так и живу.

– Аукнется тебе! Помяни своё слово, аукнется! Свету белого не взвидишь!

И колдун исчез, будто его не было. А тут я с другого конца набрала ведро воды и ливанула прямо в это кострище смрадное.

– Отольются вам наши страдания! Ой отольются! Всё вернётся бумерангом! Изверги.

После этих слов остервенели соседи ещё пуще. Назло стали дымить и палить. Куражатся. Выкуривают нас из этой жизни.

У колдуна пчёлы. Улыбается дед смиренно, а глаза страдают-гневаются. Жалко пчёл.

* * *

Долго ли, коротко мы мучились, а только привёл однажды Асин сын в дом сноху. Маленькую, беленькую, как парварда. Тихую. Оказывается, девчужке всего шестнадцать лет. Сделал ей Асин сын ребёночка. Пришлось жениться.

Тут-то и поутихли они. Приходила мать беляночки, судом грозила искусителю, зарезать обещала. Вроде решили всё полюбовно. Взяли беременную беляночку в дом, а сосунка своего отдали в армию. Избежал суда. Остепенились соседи. Стали жить потише. И дымы свои удушающие перестали разводить. Жалеют беляночку. Колдуна не жалели, а беляночку жалеют. Розы сорт конкорде у них, чёрный принц, татарское мыло, лилии цвета фламинго.

Оказывается, устроилась Ася в соседний цветочный питомник. Все элитные диковинные цветы и растения у неё на усадьбе, каких мы сроду не видавали. Отвисли у нас челюсти от изумления. Ходим, поглядываем на соседский участок. А там – красота неопишуемая! Альпийская горка появилась. Лианы вьются, ипомеи, клематисы. Встали вечнозелёные пирамидальные деревца невиданные. Чисто. Хорошо!

Простили мы всё злыдням. Здороваться стали. И колдун простил. Мёд свой предлагает недорого. Улыбаются соседи. И мы им улыбаемся. Душа в душу зажили.

И вот как-то весной приезжаю я домой. А беляночка злая, как фурия, проходит мимо, не здороваются. Вот те на!

Потом слышу, плачет у них ребёнок, заливается, плачет и плачет. Ни днём ни ночью не замолкает.

Проходит мимо Ася, не здороваются. Сын её вернулся из армии. Как подменили парня, проходит мимо, не здороваются, глаза прячет. И все остальные – глаза прячут. Да что ж такое?!

Плачет, криком исходит ребёнок и неделю, и другую, и третью! Не смолкает. Золотуху определили у него. Хочу сказать, что надо в очереди купать ребёнка каждый день. А на ночь курам носить, с молитвой стоять с ребёнком рядом с курами, пока не уснёт. Да куда там. Дичится беляночка, глушенькая, лобик узенький, злая, измождённая. А ребёнок всё плачет и плачет, с надрывом без умолку. Так плачут дети от сглаза или от мышечного ущемления. Знамо дело,

как лечить! Только намурили себе соседи, мол, не сглаз это, не ущемление и не золотуха. Проклятье колдовское сработало! Не люди мы для них – колдуны. Все Коноваловы – колдуны. Помнят угрозу старика: «Помяни моё слово – аукнется! Свету белого не взвидите!» И моё помнят.

Вот и не взвидели они свету белого. Не спят ни днём, ни ночью. Измотались. Рук не чувят, извелись. Принимают бумеранги. Волками смотрят. На те же грабли наступают. Нет бы повиниться, прощения попросить. Усугубляют зло. И нет конца и края страданиям ни в чём не повинного ребёнка. Так и увезли пацанёнка в больницу, с концом. Тихо стало.

Цветут даурские колокольчики и невиданные тропические растения на усадьбе соседей. Да нет на их лицах улыбок. Аукается прошлое зло и прегрешенья вольные и невольные. Господи, помилуй нас, грешных, и тех и этих, за слово вещее, за силу злую. Не ведаем, что творим.

Проклятья возвращаются

А вот ещё один случай неосторожного обращения с энергией зла и обиды...

Запил уже в который раз у Алки Джабаровой муж. Работящий, добродушный мужик. Руки золотые. Своё кафе у него, магазин, аптека. Чё не жить? Чего ж ты так пьёшь по-чёрному, чёрт ты безрогий? Жена Алка любила его. Терпела. И любовницу молоденькую стерпела, и свекровку-фурию, и деверя мелочного. К кому только не возила лечить своего Петю! Устала. Мочи нет. И вот вроде поутих Петя. За дело взялся. Всё у него было, кроме джипа. Поднатужился Петя, перестал пить и быстро заработал себе на джип. Ходил счастливый. Дома праздник на Новый год устроил с фейерверком. Подарки Алке купил. Не забыл и про маму свою грозную, скорую на проклятья и скандалы.

Радовалась Алка, не могла нарадоваться. Полгода почти не пил Петька. Всё! Добилась-таки своего, вылечила. Канючила, плакала-плакала и вышпала себе счастье.

И вдруг на Рождество Христово опять – двадцать пять! Нашла в заначке у Пети чекушку. Петя баню топил. Хотела поскандалить Алка, да сдержалась. Спрятала чекушку. И зря. Петька напарился, вышел довольный и румяный из парилки, а фунфарик-то где? Что за полтергейст такой! Весь день у него что-то пропадает. Психанул Петька и ещё не обсохший, распаренный, прямо в тапках в забегаловку, через дорогу. И застрял, как всегда, на час, а то и на два.

– Чтоб тебя приподняло да прихлопнуло! – в сердцах и от души возопила Алка. Да так обозлилась, что в ушах у неё зашумело. Сердце заколотилось, как бешеное.

Вот как раз в это самое время вышел из забегаловки Петька. Эх, Петя, Петя, Петушок, на шапочке гребешок. Знал бы ты, какое проклятье летит на твою буйну головушку. Не знал Петя. Стал переходить дорогу и остановился на белой полосе, чтобы уступить дорогу машине. А тут другое авто возьми да и резко остановись прямо перед идущей на всех парах ауди. Водитель ауди, нелюдь, сориентировался моментально – тормозить поздно, удар с тойотой был неизбежен. На разделительной полосе стоял Петька. Отморозок предпочёл на всём ходу столкнуться не с машиной, а с человеком. Машина у него была новая, машину было жалко. А Петьку... Петьку сначала подбросило вверх, а потом со всей силой ударило об асфальт в десяти метрах от столкновения.

* * *

– Небось опять шуры-муры завёл! – думала, сотрясаясь от гнева и мук ревности, Алка. – Чтобы ты сдох, кобель! Господи-и, накажи его, Божечка!

И она плакала до тех пор, пока не прибежали пацаны:

– Тётъ Ал, там дядю Петю машина сбила!

И ещё пуще плакала Алка потом у его гроба:

– Господи, за што-о, за што-о?! Пусть бы хоть калекой остался, да живо-ой!

Пусть бы хоть какой!..

Так и выступил у неё после похорон на кротком лице тот отпечаток тайного остервенения и отчаяния, с каким она пожелала ушедшему за чекушкой Петьке смерти.

Агрессивная, страдающая аутизмом свекровь, всем подсознанием чуя подноготную, ненавидела сноху, сама не зная за что. Долго портила ей жизнь, обвиняя, что та не уберегла их Петеньку.

А вот я всё думаю... Когда бы на земле случился рай, то люди бы из него себя изгнали сами. Нашлись бы и вечный жид, и сумрачный Отелло, и низкий каверзник, и Гарпагон, и любитель кайфа. Потому как и в раю будет стремиться человек в рай, чаще на чужом горбу. Да побыстрее.

У кроткой снохи чаще всего бывает жестокая свекровь. А у кроткой свекрови – жестокая сноха. То же самое у отцов и детей...

И всё же нельзя! Нельзя спешить с проклятьями. Любые проклятья возвращаются на головы наши.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Фауна

Ночами меня будит рыжая старая белка Марфа. Она бегает по оцинкованной крыше, тяжёленькая, топчет упругими лапками и непонятно зачем туда забегает. О крышу ударяются розовые яблоки и тихо катятся в желоба. Там они созревают и сохнут. Может быть, белка достаёт из них семечки? Я выхожу на улицу и смотрю вверх. Если бы не белка, я никогда бы, наверно, не увидела эту предутреннюю играющую, как орган, гулкую звёздную Вселенную, которая звучит синевою, переливается холодноватыми лучами огней, зовёт домой, притягивает, шевелится, дрожит, целует и отталкивает меня, как своё дитя. И я понимаю, почему говорят, что поэты ближе всех к богу. Они не забывают, откуда и зачем пришли, рождённые когда-то из космической пыли. Они пришли, чтобы увидеть свой небесный дом издалека, передать творцу свой восхищённый вздох и безмолвно крикнуть ему: «Как ты прекрасен!»

Испуганная белка перелетает с крыши на яблоню, с яблони на орешину и исчезает.

У белки Марфы растёт сын Яша. Он серебристо-серый, с охристым тёмным хвостом, совсем не похожий на свою большую ржавую мать. Весь гладенький, с блестящей шёрсткой, он почти уже вырос. Но полон озорного ребячества и придури. Забияка. Ближе к полудню зачем-то подбегает совсем близко и, буквально в двух метрах, начинает танцевать и цокать передо мной на раскидистой ветке сливы. Заигрывает. Я читаю книгу. А ему скучно. Он громко цокает и хочет, чтобы я неотрывно смотрела на него.

Я смотрю во все глаза.

Тогда он поднимается в рост и начинает, расхлябанно и задиристо раскорячась, прыгать с ноги на ногу.

Танец незамысловатый и однообразный. Прыг-скок – с ноги на ногу, с ноги на ногу.

Я возвращаюсь к чтению.

Яша протестует. Снова пронзительно и учащённо цокает. Цокает ещё громче. Хочет общаться.

Я снова смотрю на него. Он начинает танец. С ноги на ногу. Быстрей. Ещё быстрей. Потряс зависшей лапкой. С ноги на ногу, с ноги на ногу. Цокает. Задирается. – Ну и чем ты меня удивил? – ласково говорю я ему.

Яша замирает, стоит с поджатой лапкой, снова цокает, с любопытством следит за мной, делает шумовую завесу звуков. Ему скучно. Может быть, голодно.

Я встаю, протягиваю руку. Забияка сигает в сторону. С бьющимся, что есть силы, сердчишком наблюдает за мной с яблони. Я делаю шаг, второй, третий... Он перелетает с яблони на вишню, с вишни на грушу. Уходит.

И я вспоминаю, что в пазухах навеса над крыльцом, прямо у входа в дом живут сони.

Они тоже голубовато-серенькие с поднятыми по-беличьи хвостами, но хвосты их с редким мехом, куцые и жалкие. Сами сони чем-то похожи на тощих крыс, незримы, тихи, и я очень долго не знала, что в доме живут ещё одни хозяева по имени сони. Они живут, всего один раз обнаружив себя. Живут, больше не пересекаясь со мной.

* * *

Ещё один параллельный мир – обитающая в сарае, в кирпичах ласка. Мир вредный и изопрённо-коварный. Оказывается, матёрая и тоже незримая ласка ловит и убивает соседских кур. Она не ест их, а только высасывает мозг из птичьих головок.

Соседа жалко. Он хоть и матершинник, хам и орангутангоподобная мразь, но он, плача, чуть ли ни каждый день находит мёртвых кур в своём дворе и в малиннике.

Обнаружив маленькие отверстия в птичьих черепах, откуда-то знает, что это ласка. Прикидывает, где она живёт, приходит ко мне и, страшно матерясь и извергая проклятия, разоряет сарай, поленницы с дровами, аккуратную стопку кирпича...

Ласка, старая и опытная тварь, ускользает, уходит надолго.

Однако возвратясь через месяц в курятник, попадает в искусно сделанную ловушку.

– Твою мать! Она укусила меня! – истерично вопит сосед, поймавший было ласку. – Я упустил её, с-сэка!

– Как она выглядит? – участливо спрашиваю я.

– Белая такая, с огненно-рыжим налётом, матёрая, с-сэка, большая, с кошку, самец – сипит сосед. – Как... кусок пены с Красного моря. Всё! С-сэка, больше не придёт...

Местная ласка очень хитрый коварный зверь. Будет разорять другой курятник, пока не разоблачат. Таких лучше убивать. От них страдает всё куриное население.

В детстве на Иссык-Куле я видела ласку в усадьбе отца. Та была маленькая, белая, как сахар, с куньей мордочкой, красивая и нежная.

Отец не преследовал её. Видимо, в той местности, где мы жили, ласки не вырастали в матёрых пакостников, питались мышами. Они не трогали даже цыплят.

* * *

Итак, параллельные миры очевидны. Не все, конечно, но очевидны. Живя с огненной лаской в одной усадьбе, я никогда её не видела. Соню видела всего один раз. Крота и свою, персональную змею один раз, суслика один раз, Шах-птицу один раз. Летучую чёрную мышшь-вампира один раз...

А вот кто у меня съел половину булки хлеба, которую я нечаянно оставила на столе? Не знаю.

Кошки не великие хлебоеды. Собаки утащили бы булку в укромное место, или хотя бы сняли её со стола. Крыса не может съесть так много и сразу, сони и ласка – хищники, едят только живое. Кто это мог быть?

Столовую я оставила всего на двадцать минут. А когда зашла в дом, увидела насмерть перепуганную кошку, которая в страхе выскочила из кладовки. Остальная половина булки аккуратно стояла на столе, даже не сдвинутая с места. Хм...

Ларва

Как-то запил писатель и поэт Витя Матюшин. Запил и запил. Подойдёт, посмотрит в кадучку с дождевой водой. А в ней, куда, кажись, ещё вчера пролился майский юный ливень, рожа страшная, морщинистая, с фингалом под глазом. Осень спустилась на седой паутинке. Пёрышко птичьё залетело. Где вчера звезда мечтаний плескалась, сегодня шепелявая старость шепчет. Эхо гулкое от шёпота, печальное. Отшатнётся Витя и пьёт снова по-чёрному.

Каждую ночь костлявая с косою под утро в постель к нему подкладывается под бочок. Ждёт своего часа.

Повела Витю жена к целителю. Силы невиданной знахарь. Глаза – бинокли! Магические! Судьбу и по эту сторону видит, и по ту. Лечит гипнозом, молитвой отмаливает. Крепкий старик. Пока больных принимает, маковой росинки в рот не берёт. Порой до вечера чистый, как ангел, не емши работает. Еда ему на ум не идёт. Положил он Витю в передней, так, чтобы иконостас весь как на ладони виден был. Зажёг свечку, коснулся лба и усыпил Витю в одну минуту. Читает молитву, а у спящего Вити веки подрагивают.

– Поддастся! – взглянув на жену, удовлетворённо сказал знахарь. – Ларва в ём сидит. Печень целая. Почки в порядке. Поддастся. Пить бросит.

– А что за ларва? – испуганно спросит Витина жена.

– Ларва – сущность, тварь, которая входит в душу человеку и делает его одержимым, – пояснил знахарь и перекрестился. – Вставай, Витя, отмолил я твою душу, а с тварью сам справляйся! Подумай, кто вторгся в тебя и зачем? Найдёшь причину, жизнь твоя повернётся на сто восемьдесят градусов. Ко мне можешь больше не приходиться, уеду я скоро в Сибирь. Жена домой на родину зовёт.

Встал Витя с диванчика, и так ему хорошо в теле, приятно, как будто заново на свет народился. Жить захотелось, бороться. Спросил, сколько знахарю лет, и подивился. Восемьдесят пять старику, а у него глаза юноши. Лицо гладкое, стать крепкая.

– В чём здоровье и сила твоя, дед? – спрашивает Витя.

– В умеренности. В помыслах чист. В чревоугодии скуп, – ответил старик, – наверно, сам замечал про себя – здоров, пока голоден, а поел – заболел. Так же и в помыслах. Умеренность во всём нужна. И в чувствах, и в желаниях, и в страстях.

– А ларва – это, значит, субстанция. Чужая тварь, овладевшая моей душой? – спросит Витя.

– Питающаяся тобой. Силой души твоей, – подтвердил старик. – Это то, что крадёт твою энергию, суть, жизнь. Не избавишься, погибнешь. И знай, вино следствие, а не причина. Что тебя так больше всего задевает и ранит? Думай...

И пошёл Витя, утопая в бархатной пыли переулка, думать. Помолодел. Поостыл Витя к вину. Принялся за чтение, и вот она уже и разгадка, ответ, в чём ларва сокрыта.

Был у Вити редактор, который долгое время готовил его рукописи в наш заштатный журнальчик. Тихий такой редактор, ничем не приметный, серая мышь. И вдруг стал этот редактор чинить Вите, признанному писателю, препоны. То одну рукопись зарежет, то другую. Это не пропустит, то сократит, здесь словом недобрый вред нанесёт.

И вдруг расписался редактор сам! Подался в писатели. То повесть, то рассказы свои даст в журнале, вместо Витиных. Был такой писатель – Виктор Матюшин, и сплыл. Вместо него редактор – серая мышь публикуется. На глазах разросся. Глядь, уже не мышь, а крысь. И не крысь, а крысиный король. Заправляет литературой. Погоду делает. Половину журнала «Заря» занимают вещи редактора, а не авторов, которых он когда-то редактировал.

Открыл Витя журнал «Заря» и впервые стал читать крысиного короля. Смотрит, а король-то, хоть и крысиный, а не так уж и плох. Будто это он, Витя, пишет! Так всё понятно. И стиль, и язык, и приёмы – всё понятно. И интонации, будто это он, Витя, пишет!

Постой-постой, думает Витя, да это же моя находка, моя, моя литературная лаборатория! Вот почему так близок и даже по нраву ему новый писатель Крысин. Даже герои стихами говорят у него, как у Вити когда-то говорили, – его приём. Многое взято, уворовано из творческой мастерской. Читает Витя дальше и вдруг свой сюжет узнаёт. Только синтезированный. Вошли в его сюжет чужие плоть и дух, и перетёк его сюжет в иную материю. Материя плохонькая, чёрная, да сюжет сильный. Работает его сюжет. Изуродованный, негативный, но живёт, дышит. А внутри сюжета та самая ларва – чужое творение, пошлое, злое, торопливо сляпанное, но впечатляющее, как рассказы об упырях и вампирах. От таких сюжетов кровь стынет в жилах. Нет в них нравственного закона. Изуродовано всё. Будто уели часть Витиной души.

«Вставай! Ты всё проспал!» – сказал себе писатель Виктор Матюшин. – Ещё немного, и занявший твою писательскую мастерскую, овладев твоими инструментами и приёмами, станет властителем дум. Только будет плод его труда, выращенный из твоих семян, искусственным, как гомункул в пробирке. Ведь всё, что делается не по совести, а ради денег – не от Бога, а от Дьявола».

Воскрес Витя Матюшин и перестал верить в солнечную вспышку, которая пожрёт Землю. Ибо конец света – для тёмных, а конец тьмы – для светлых.

* * *

И умер редактор Крысин. А случилось это так. Однажды сердобольный Матюшин помог больному, бедствующему поэту-бомжу Недоле. Был Недоля известным когда-то лириком, повесой и бабником. Ходил с дремучими кудрями – не прочешешь за час, с родинкой над губой, в глазах золотые луны, высокоий. Да согнула жизнь в бараний рог. Облысел рано, отравленный газами в Афгане. Страдал жуткими головными болями. Жильё потерял по дурости. Заложил и профукал всё до копейки.

Матюшин помог. Достал Недоле исчезнувшее тогда в городе редкое лекарство. Устроил его охранником на богатую дачу. Даже старый компьютер подарил.

Расцвёл Недоля вместе с весенними тополихами. Зазвенело в карманах и в башке у него от радости. Тепло. Домик сторожевой – как скворечник среди каштанов и черёмухи. Скворушкой запело сердце. Стихи необыкновенной силы случились у Недоли. Опубликовал их журнал «Москва».

Купил Недоля себе телевизор. Календарь. Пачку хорошей бумаги для поэмы. Хорошо. Даже слишком.

* * *

Бывало, приручённым ласковым зверем придёт к Матюшину и преданно смотрит ему в глаза.

– Скажи, Витя, что я для тебя могу сделать? – проникновенно спрашивает он у благодетеля. – Прикажи.

– Не знаю! – пожимает плечами Матюшин. – Мне и так хорошо. Ничего не надо! Живи! Радуйся!

– Может, отлупить кого? – не унимается Недоля. – Неужто врагов у тебя нет?

– Враг у нас один. Сам знаешь кто. В журнале «Заря» сидит. Пусть живёт. Может, нужны такие. Амбиции наши выращивать, – отшучивается Витя.

Однако возьми да и случись у Недоли по весне короткое затмение. Снесло ему башню. По самые уши снесло.

Разухабился Недоля, нашёл увесистый круглый камушек, засунул в чёрный чулок, намотал его на руку и пошёл страцать Крысина прямо за столом государственной службы.

Крысин, давно возомнивший себя единственным и неповторимым гением, не желая читать кого попало, кропал прямо на рабочем месте свой очередной опус.

И он со своей физией Ури Геллера, с мозгом, погибшим от алкоголя, и отмороженный на всё сердце, был уверен, что Недоля ничтожество. Он так и смотрел на него как на ничтожество. Глаза – две пустых стекляшки, смотрели и не видели Недолю. Недоля в этих глазах был меньше тли. Как, впрочем, и все «доморощенные» писатели, которые не ходили у Крысина в холуях и оболстителях.

Рукопись Недоли, нечитанная и заочно отвергнутая, шлёпнулась на стол. «Стихи не годятся. Слабо. Умозрительно» – было написано на полях.

Недоля заспорил и окончательно погиб для Крысина. Теперь на Недолю смотрели как на опасную тварь. Мерзейшую.

– Не понял... – удивился Недоля.

– Стихи ваши не понравились. Вот и всё! – отрезал Крысин тоном, полным ледяного презрения.

Произошла немедленная разборка. Два таланта взорвались как пороховые бочки.

– Тебе, как редактору, не нравятся мои сочинения? А мне, как читателю, не нравятся – твои! – вскричал Недоля.

– Пшёл, – процедил Крысин и, побагровев, наклонился над своей рукописью.

– Слушай, упырь, ты приватизировал государственный журнал, а я сейчас – тебя!..

Надо сказать, что у Недоли была своя маленькая тайна. Отсидевший по молодости за рэкет, он знал, как пугать несговорчивых. И он с маху ударил камнем по графину с водой, разбив его вдребезги. Раздался гром.

Нежного Крысина, избалованного елеем и пресмыкательствами паствы, хватил удар.

Падая, Крысин уткнётся лицом в острые осколки от графина. Кровь зальёт его рукопись, которую он уже почти закончил. И эта зелёная с болотным запахом кровь медленно подтекала к его последним строчкам, которые вещали почти библейские истины.

«Зло льнёт ко злу, добро к добру. Гения может постигнуть только гений, а убить – любой. Однако ни один волос не слетит с нашей головы без ведома Бога...»

Брату

Иссык-Куль. Мне шесть лет. Павлику всего два года. Мы жили на берегу речки, что текла под бугром, а на бугре возвышался наш дом.

Чистая, как слезинка, речка Кутурга в переводе с киргизского означала бешеная, взбесившаяся, хотя мне она казалась самой весёлой и самой чистой на свете. Берега её украшали жёлтоплодная гигантская боярка, облепиха, райка и тоже жёлтоплодная алыча. На фоне этих золотых даров природы особенно ярко выделялся лилово-синий барбарис и краснобокий конопатый от избытка кадмия урюк. Да только, как в сказке «Гуси-лебеди», на предложение Алёнушке этих диких даров сказала бы я: «Фи! Тут батюшкины садовые абрикосы и здоровенные с голову ребёнка кронштейны не едятся, сливы белые ве-

личиной с яйцо и сливы чёрные – с бычий глаз не прельщают, а вы мне алычу и раечки?!»

Когда приехала к нам в гости синеглазая, моложавая наша бабка-хохлушка из Целинограда, папина мать, она потрясённо всплеснула руками.

– Це ж рай!.. Гулять сегодня не пидеешь, будемо собирать урюк... А який же гарный шиповник у вас! Це ж лекарство.

Бабушка наша Варвара Ивановна (урождённая Стародубцева) была когда-то женой управляющего соляными промыслами Казахстана (моего деда) Никиты Лукича Шиленко. Жила в большом двухэтажном особняке под железной крышей, сидела на зачехлённых белым сукном креслах, ела на тонком китайском фарфоре, пила из чешского стекла. Её родная сестра Полина Ивановна (урождённая Прасковья) была замужем за генералом Советской Армии и жила в Германии. На фото Полина сидела рядом с генералом в бальном платье, в белых перчатках до локтей, и было ясно, почему она стеснялась своего простого имени Прасковья... Ослепительная блоковская незнакомка.

Бабушка же моя Варвара, видимо, что есть мочи тянулась за сестрой-генеральшей. Она выходила к завтраку в элегантном тёмно-синем костюме, в белой шифоновой блузе с воланами, с приподнятым воротничком и огромной бриллиантовой брошью под горлом. Потом она подарит мне эти фальшивые бриллианты, и я буду долго хранить брошь в комодe в укромном месте, считая себя сказочной богачкой.

А моя мать невзлюбит свекровь за этот фальшивый аристократизм и белые ручки, поскольку бабушка сразу дала понять, что на ней где сядешь, там и слезешь.

Однажды она увидела, как отец подмывал попку маленькому Павлику.

– А ты шо, Ваня, пидтырычем здесь робить нанялся? Шоб я бильше не бачила!..

Отец сильно обиделся на «пидтырыча».

– Мам, делать тебе нечего. Возьми вон лучше мясорубку, мясо проверни, шанежки испеки. Помнишь, как ты в детстве стряпала?

Палец о палец бабушка не ударила сколько жила. А заметив неприязнь, обозвала всех «лярвами» и уехала снова в Целиноград к дочери. Вечный конфликт. Теперь только понимаю, как тогда молодой моей маме хотелось работать, ходить в кино, шить платья и иметь помощницу. Я тогда была тоже плохой нянькой. И бабушка, и я были заняты собой. Однажды голодный Павлик залез в подувало, нашёл там золу, ампулы из-под пенициллина и попробовал всё это есть. Мать застала его с окровавленным ртом, полным золы и стекла, всего в саже. В другой раз, когда в трещину после незамеченной усадки стены заползла змея, мать выволокла её из корзины с яйцами щипцами и, порубив лопатой, выкинула за дом. Я застала потом бесштанного одинокого Павлика, играющего в песке гадючей головкой. Он смело держал её двумя чумазыми пальцами за виски, а когда я попыталась отобрать страшную игрушку, убежал и спрятался. Почему именно головку, а не хвостик? Неужели двухлетний ребёнок понимал в этом доблесть и остроту ощущений? Мы с трудом отобрали у него змеиную головку, после чего мать собрала изрубленную змею и бросила её в костёр. Жареная змея вкусно пахла, шваркала и шипела на огне до тех пор, пока не выстрелила капелькой сала прямо мне на руку... С тех пор у меня на правой руке имеется красная родинка, которую я всегда мечтала свести.